

жалось в многообразных формах. Одна из них — чаепития в Лаврушенском или на даче. Меня приглашали с женой. Однажды осенью в Удельной хозяева устроили громадное застолье, назвали кучу гостей. Гвоздем программы был Ираклий Андронников, который в подпитии был страшно весел и неистощим на комикования. Тут было все, что мы потом слышали в его концертах, а многое такое, что он никогда не выпускал. Чувствовалось, что у него заготовлены «номера» и на Благого, и на Виноградова, но он себя сдерживал: готовился к докторской защите. Некоторое время спустя я ночевал у Андронникова на даче в Переделкине: по просьбе Благого он просмотрел лермонтовский раздел в моей докторской диссертации об «Отечественных записках», а заодно и статью на эту тему, которую я готовил для «Вопросов литературы».

Не все гладко и сладко шло в жизни Дмитрия Дмитриевича Благого. С 1953 г., когда он получил звание члена-корреспондента АН СССР, его упорно и явно не пускали в действительные члены Академии. Я много раз видел «старика» в подавленном настроении. Люди моего поколения помнят жаркие баталии Благого с В. В. Виноградовым, бывшим с 1950 г. «вторым лицом» в стране по вопросам языкознания. Тем не менее Благой смело шел в бой и, думается, был совершенно прав. В последних своих книгах Виноградов выдвинул концепцию: реализм может сложиться лишь на базе единого литературного языка, а появление и того и другого — реализма и норм языка — оказалось возможным только в творчестве писателей «натуральной школы», т. е. в 40-е годы. Получалось, что Пушкин, а заодно с ним и Лермонтов, и Гоголь оказывались лишь предтечами этих процессов. Благой с этим не мог согласиться принципиально: именно Пушкин — создатель русского литературного языка, и в его творчестве впервые сложился реалистический метод.

Я не говорил Благому, что отец мой арестован в 1937 г. и погиб. Это был простой рабочий, турбинный мастер, беспартийный, кормилец семи душ, обвиненный «во вредительстве». Признался я только жене его, Софье Рафаиловне, уже после реабилитации отца в 1956 г. Она была чутким, сострадательным человеком, и мы, все ученики, ее очень любили, поэтому я ей доверился. Мне казалось, что раньше это обстоятельство могло бы озадачить Дмитрия Дмитриевича. У них дома на стене висела старинная фотография: два мальчика в гимназических курточках: «Вот это я, а это — мой брат», — однажды лаконично пояснил Дмитрий Дмитриевич. Время разметало их: брат жил в эмиграции, кажется, в США. В годы сталинского террора всего приходилось опасаться.

Мне иногда становилось досадно, что Дмитрий Дмитриевич чрезмерно осторожничает.

Знаменитая дискуссия 1939—1940 гг. по поводу книги Г. Лукача о реализме, изгнанная властями из печати, свою агонию переживала у нас в ИФЛИ, в 15-й аудитории. Я был в числе многих студентов-«бунтарей», стоявших на стороне «вопрекистов», т. е. Г. Лукача, М. А. Лифшица, В. Р. Гриба, Л. Е. Пинского. По всему складу своего ума Благой был, конечно, сторонником диалектического подхода к проблеме, но как сотрудник ИФЛИ склонился на сторону начальства, «благодаристов».

После войны иногда промелькивали сообщения о баталиях в Союзе писателей, «проработках», о сборах «подписей», и подписи Дмитрия Дмитриевича стояли под осуждающими резолюциями. Неприятно это было. Но кто тогда не грешил, на кого не давили сверху? Время позорное было.

Но шли годы, и логика вещей невольно нас снова сближала. Полагаю, что по подсказке Благого И. М. Ободовская и М. А. Дементьев пригласили меня написать предисловия к их последним двум книгам — «Пушкин в Яропольце» и «Наталя Николаевна Пушкина» (к первым двум их книгам предисловия писал сам Благой). Я продолжал любить Дмитрия Дмитриевича: какой блистательный старик! Как пронизательно и тонко разобрал он «Вечерние огни» Фета в «Литературных памятниках»! Да, поэзию он всегда чувствовал! Прислал книгу с